

АЛЛА И АЛМЕРА

Когда надо было где-то отмечать свою машину, Коротков писал её без кавычек. Потом, когда делали замечание, исправлял.

Алмера — какие кавычки, какое иносказание? Это имя. Как Алла.

С виду Коротков был чёрствым человеком, потому что не распространялся в диалогах. “Да”, “Нет” и пару вежливых, чего балаболить. Одевался он строго (однотонная рубашка, галстук, костюм), но бывало с какими-то выкрутасами: джинсы, шейный платок, кроссовки. Тогда это называлось “загулял”. Впрочем, спиртное употреблял — именно “употреблял” — в меру.

Он стремительно седел, постригался почти под ноль. И лицо его приобрело стальной цвет. Стальным он делался оттого, что не видел вокруг людей, перед которыми можно было “расплавиться”.

У Короткова не было друзей. Опытным путём он узнал, что всегда и всюду от него чего-то хотят. А если и не хотят, то с друзьями надо пить, куролесить, выезжать на природу и, главное, слушать их приевшиеся рутинные разговоры.

Брат Валентин жил в Саратовской области, имел магазинчик, в котором продавалась редкая для сегодняшнего дня конская сбруя. Брат при редких встречах всегда острил: “Коммерция меня захомотала”. С Валентином у них тоже мало общего. Иногда по телефону — дежурные фразы.

Вот ещё осталась бывшая жена Лена. Он разошёлся с ней, когда узнал об измене. В наше раскрепощённое время супружница нашла себе бойфренда по интернету, как какую-нибудь китайскую вещичку. Бывает такое, махнул на это рукой Коротков, значит, я ей мало внимания уделял. Сам дурак.

Но жить с ней Иван Иванович Коротков не стал, противно было прикасаться. Он эту брезгливость заметил неожиданно. Ему неприятно вдруг стало, мурашки по коже высыпали тогда, когда он случайно дотронулся губами до кофе из её чашки.

Можно было бы заключить, что Коротков одинок. Однако это было не так. Единственным живым существом, крайне отзывчивым, нежным даже была его японочка Алмера. Машина среднего класса, на которой в Японии ездят мелкие чиновники. Но Коротков её выбрал по многим позициям. Во-первых, потому как имя машины напоминало первую, несостоявшуюся любовь, Аллу Субботину, во-вторых, машина эта была такая же скуластенькая и узкоглазая, как та же Алла. Короче, и во-первых, и во-вторых — из-за одного и того же.

Ну, а стальной цвет машины Короткову просто нравился — мужественно. Редкая женщина похвалиться таким уходом за собой, какой проявлял к своей “Алке” (так он иронически называл своё транспортное средство) Коротков. И на холостом ходу, и на большой скорости он чувствовал дыхание своей любимой. Малейшую “першинку” в голосе он замечал без “стетоскопа”.

Человеческую клинику Коротков не жаловал, зато в СТО у него были свои мастера, которые за глаза удивлялись: “Чего он хочет, машинка, как часы, работает, чудак на букву “м”. Но деньги брали за какое-нибудь неважное подтягивание болта, лишнюю смазку.

Мыл, парафинил, переживал за незаметную царапину где-то там, “подмышками”, на невидимом месте. Но зато и отдавалась Алмерка ему от всей своей души, и мчала по чёрному асфальту то в ясное, серебряное утро, то в космическую черноту. Вот тогда-то внутри и трепетало, и звенело тоненько, и было так хорошо, будто дождик прошёл и пахнет радугой. Так мать всегда говорила: “Пахнет радугой”. Тогда Коротков просто летел, не замечая ни рук, ни ног, ни стареющего своего тела. Никому об этом лихом полёте Иван Коротков не рассказывал. Это было чисто его.

И вот однажды... В человеческом быту всегда существует это надёжное слово. Однажды он заехал на знакомую мойку к Михалычу и увидел там её. Он её сразу узнал. Алла Субботина! Та самая, из первой влюблённости. Все её лицо с острыми скулами, узенькие щёлки глаз, тонкая, классически гибкая фигура, шаг с достоинством. И хоть она тёрла губкой дверцу Алмеры и почти не видела его, опустившегося на стоящий в углу моечного павильона табурет, всё равно её движения были аккуратно плавными. Именно такими, какими были они в его юности у Аллы Субботиной.

Коротков знал, что та Алла Субботина умерла в чужом Ташкенте от онкологического заболевания, что это фантазмагория, и всё же, несмотря на “чуть собачью”, другим, каким-то новым разумом понимал: она.

Когда он её увидел, то даже дыхание перехватило. И вот, достигнув табурета, он пришёл к странному выводу: гениальный учёный Михайло Васильевич Ломоносов прав: ничего никуда не исчезает. Закон сохранения вещества. Не докумекал русский гений, что это правило касается и женщин. Женщины не исчезают. Наверное, и мужчины не исчезают. Просто катятся все в разных поездах.

Мойщица Алла Субботина стала недоуменно поглядывать на пожилого мужчину, долго сидевшего на старом, покоробленном от воды табурете. Обычно все уходит курить, пить кофе или просто пошататься. А этот застыл, как вкопанный.

Не решился Иван Иванович Коротков спросить, как звать девушку. Зато уж Алмерку — Аллочку свою “притопил”, как следует. И очумевшая от счастья машина несла своего хозяина куда глаза глядят, чуть постанывая на неровном дорожном полотне.

Во второй половине дня Коротков переделся в джинсы и цветастую рубашку. Ему везде “пахло радугой”.

На другой день он опять хотел было записаться к Михалычу на мойку. Но мыть было нечего. Может, специально по пыли помотаться? И на мойку он поехал на выходные.

Ему повезло. Работала Алла. Ей помогал какой-то “ботаник” на хилых ножках, обтянутых джинсовой материей.

Алла взглянула на Короткова, как на старого знакомого, и немного улыбнулась. Да, он знал эту нерешительную улыбку. Коротков её вспомнил. Даже отказывая в чём-то, та далёкая Алла улыбалась так нежно, будто награждала.

Она улыбнулась и посерьёзела. Её лицо было грустным, горестным, что ли. А дело в том, что вчера она поругалась из-за пустяка с Сашкой, который её обожал, а она не понимала своих чувств к нему. Девушка подозревала, что здесь, на том месте, где она живёт, не может быть любви. На такой почве ничего хорошего не растёт. Хоть поливай её, хоть целебной пеной покрывай — так, колючки одни.

И тёрла она машину Короткова энергично, пылесосила салон с такой же напористостью, будто хотела вычистить не только частный транспорт, а и внутри себя, всю кровь, всю лимфу. Было противно, что в том разговоре с Сашкой она пыталась себя показать.

Коротков, когда расплачивался, всё же решился и, заглядывая в её узенькие глаза, произнёс:

— Вас случайно не Аллой зовут?

Она взглянула на него, как на старика, пристающего к молодой:

— Нина. — Холодно, отстранённо. Конечно, он сумасшедший. Что ему привиделось! И всё же на этом Коротков остановиться не мог. Вернее, не мог остановиться его язык, который начал плести несурзное. Мол, знакомая, точно такая, у него была в далёком прошлом. Нёс пургу, от которой глаза у мойщицы расширились до предельной величины.

Более того, седеющий Иван Иванович Коротков смаху пригласил девушку сегодня вечером посидеть в ресторане “Матрёшка”. Фантастика беспредельная! Нина, забытое русское имя, согласилась. Виной всему был вчерашний инцидент с влюблённым в неё Сашкой. Это было неизвестно что, отметка, или просто сумасшествие заразительно, как грипп.

В ресторан она пришла нарядной. Колечки, на шее цепочка с дельфином. Шаг у неё был по-прежнему плавный. Но сидела она на ресторанном стуле прямо, как учили в первом классе. И даже руки на столе держала сцепленными. Нина училась на фельдшера “скорой помощи” в местном колледже. И подрабатывала на мойке.

— А что, больше нигде нельзя?

— Здесь сразу платят. Я на учёбу коплю и на лето. Чтобы к морю.

— А хотите, я вас на море отвезу, и будете там жить, сколько хотите.

Нина с недоумением взглянула на пожилого, малознакомого человека и приподнялась было со своего высокого стула. Но потом опять села:

— Не надо так...

Коротков всё понял.

Подали ужин. И голодная Нина, забыв, с кем она в этой роскоши, накинута на еду. Победил не только голод, но и молодой инстинкт, сам по себе заботящийся о человеке.

Как бы вдруг опомнившись, она положила вилку на узорчатую салфетку и простодушно взглянула на Короткова:

— А вы тревожитесь о своей машине очень тщательно, в ней и убирать-то нечего.

И Коротков, как бы оправдываясь, стал говорить, что это у него в характере, что он о любой вещи заботится так тщательно. Немного приврал, конечно. Хотя девушка права, об Аллочке своей он заботился со страстью.

И, чуя, что Нина его слушает, чуток прихлёбывая минеральную воду, стал говорить всё. Надо же. Он говорил о своей матери, которую он мучительно любил, а она жила далеко от него с новым отцом-отчимом Белозеровым, о брате своём, торгующем хомутами, даже о Ленке, но больше о юности, об Алле Субботиной, которую он называл Аленький Цветочек. Он говорил

и взглядывал на Нину. Коротков захлёбывался словами, тёр щёки, промокал глаза и рот теми же узорчатыми салфетками. Ему было стыдно и радостно одновременно за пошлость — хм-м, “Аленький Цветочек”... Он взглядывал на мойщицу машин. Нинино лицо было крайне доверчивым. Нина не выветрилась, не полиняла, не растрясла душу по кочкам.

Такое чувство, что он за рулём своей Алмеры, опьяневший без вина, лишь от того, что его внимательно слушают. И снимают с сердца какой-то невидимый, неудобный груз, гирию.

Больше Коротков и Нина никогда не встречались. Просто спустя время ему стало стыдно за свою исповедь перед незнакомой девушкой. Да и душу больше бередить не хотелось. Ближнюю мойку он стал объезжать стороной, хотя нутром чуял, что девушка там давно не работает.

ТРЕПЕТ ТАЙНЫ

Добрый Дед сурового вида, владелец всей этой цветущей прелести, сдвинул кустистые брови и ткнул толстым пальцем в сторону леса:

— В лес глубоко не заходите, змей в этом году ясно. Ясно, как вишен в саду.

Добрый Дед положил свою тяжелую ладонь на Ленины коленки:

— Мне только и остаётся, что женскими ногами... Глядеть на них...

Окуневу было это неприятно, неприятен и юмор хозяина, взглянувшего на джинсы корреспондента Королькова. “У тебя ширинка расстёгнута, птичка вылетит!” Надо было терпеть и переключаться. Он со счастливым сердцем подумал, что вот эта “тайная Лена” — самая красивая женщина здесь. У неё прямые, каштановые волосы, глаза то ли синего, то ли зелёного отлива. Всегда эти глаза смеялись, даже в моменты грусти. То есть эти глаза оставляли надежду на лучшее.

Никто не подозревал об их отношениях. В принципе, в этих отношениях ничего такого плотского и не было. Они просто разговаривали. Порой он тайно гладил её пальцы. Раза три они целовались, когда все уходили на обед. Целовались воровато, с оглядкой на дверь.

В ней сохранился детский наив. Он понял это тогда, когда Лена рассказывала про свою крохотную дачу в уральском посёлке, как они с матерью выходили на весеннее солнышко. И половицы на крыльце приятно грели и слегка щекотали ступни. Что в этом особенного? Но этот короткий рассказик кольнул сердце: “Как она мила!”

Добрый Дед посоветовал всем пить как можно больше кумыса и отчалил на своей тяжёлой, блестящей чернотой “Волге”

У нас такое милое свойство: на природе надо как можно больше есть, а дома — как можно больше говорить о любви к природе. Посему все рассредоточились по сумкам, выкладывая снедь на длинный дощатый стол, расположенный под густым кленом.

Было было невдомёк, что Володя Окунев и Лена Мельникова исчезли из этой компании. Они пошли на бережок, где бултыхалась тёмная, как Дедова машина, только просмолённая лодка.

— Спасение от змей. Уж они нас не достанут, — блеснула глазами Лена и первой прыгнула на качающуюся посудину. Плехнувшись на тесную скамейку, они сразу стали целоваться, угасив в голове всё. При этом не так, как в “конторе”, а жадно. Ведь здесь природа. А природа всегда благословляет влюблённых. Это, кажется, он изрёк в перерыве между поцелуями. А она ответила: “Как ты пошёл!” Сказала это не осуждающе, даже поощрительно.

— А слабо нам в лесу! — с дрожью в голосе проговорила она, отдышавшись от очередного затяжного объятия. — Опасность нужна.

— Ничуть не слабо! — Окунев ухватил её за запястье и выдернул на бережок. Лена послушно, словно сомнамбула, двинулась к недалёкой опушке. За ним. Деревья здесь были разные, малорослые. И всё было схвачено весенним, размашистым кустарником и вязкой травой.

И трепетом тайны. И жаждой опасности.

И чего греха таить, Окуневу и в самом деле было боязно волочить ноги в плотной траве. Ей же ей, на гадоку наткнёшься. Ойкало внутри. Змеи весной злые, потому как голодные. Но, однако же... Странная мысль вцепилась в его мозги: “А тогда ведь, при сотворении мира, свидетелями платонических отношений Адами и Евы были одни лишь змеи. Хм-м, это змеи их совершили! Ясен пень. И за счёт этого появилось всё человечество, в том числе и раб божий Володимир, и раба божья Елена”.

— Молчи, молчи! — Она опять уткнулась в его губы, прошептала: — Я чувствую это! — И они упали в траву.

Он только потянулся туда. Но Лена, ласково погладив, убрала его руку.

Они только целовались то ласково, то ожесточённо. И от опасности, что, как пел когда-то сильный, модный баритон: “Змеи, змеи крутом”, — эти поцелуи были ещё слаще, ещё желаннее.

Грех ли это?! Да, грех! Ведь и у неё был муж, начавший лысеть, с круглым животиком, Саша. И у него была жена. И, в самом деле, бесценная жена, которую невозможно оторвать от сердца.

Но этот грех казался весёлым и радостным, желанным, потому как всюду разлито весеннее солнце, и ветер пахнет неизвестными цветами, и там недалеко волны плёпают о борт новейшей лодки. И от длинного стола с закусками раздаются весёлые голоса. Да ещё и: “А-у-у-у!” Видно, их ищут, чтобы всем вместе выпить и закусить.

Нет, конечно же, он не разобьёт свою домашнюю жизнь, не уедет с ней на Урал. С Леной, с этой красавицей с весёлыми, надёжными глазами. Он её любит, да, конечно, он жутко в неё влюблён. И целуются они с таким упоением, что змеи в кустах жмурятся от зависти.

СТАРИК И ПОЕЗД

Пить и курить старик бросил давно. И ещё одно удовольствие — читать, и это пришлось оставить. Читать новое он не хотел. А старое помнил чуть не наизусть.

Старик внезапно, в одночасье понял, что подкатило, что уже пора доставать из сундука вещички и отправляться из жизни к тому камню, на котором начертано: “Пойди туда — не знаю куда”. То ли к могильным червям на закуску, а то ли к Богу на допрос.

Но вчера вот ему приснилось или примнилось спросонок, будто кто-то приказал ему вежливым тоном: “Возьми билет, езжай!”

“Куда?” — взметнулось в голове.

— Куда глаза глядят! — тюкнул ответ

Старик понял — всё благо. Это как последняя сигарета приговорённого к смерти.

Он это любил. Он любил да забыл. Он забыл равномерное раскачивание в поезде, как в люльке или во время любви. Любил, любил, любил. Как мог забыть?! То убаюкивает, а то заставляет жадно глядеть в окно. А там — улыбающаяся из-под колес земля, фигуры на перроне, меняющие свою жизнь. И от этого фигуры становятся более живыми, чем те, которые сонно бродят или заплывающе, лунатично мечутся по их посыпанному рыхлой скукой городку.

Ехать на машине в потоке — это не то. Сигналы, толчея. Это — нудная очередь. Да и шоссе скучно. Железная дорога — вот это настоящее путешествие. В окне — глянь-глянь туда, чуть скоси глаз, пасутся козы. Мужик прибывает жердь к кольшыку. Старая, неприлично вздыбленная водонапорная башня.

А рядом-то, за столиком, разворачивают шелестящую бумагу. Чесночный запах копчёной колбасы. И принесут чай в гранёных стаканах с металлическим подстаканником. На подстаканниках — отёртая проводницей чеканка, звёзды, орнамент, выбито “МПС” — министерство путей сообщения.

Старик взял билеты все же на нижнюю полку, но поближе к туалету. Он, странно это, хотел, чтобы пахло зубной пастой, разным мылом, хлоркой и мочой — всем человеческим.

И сразу же, на своей станции Старочеремуховской он понял, что праздника не случится. В дверях вагона его встречала не старая, в два обхвата проводница в чёрной засаленной юбке с косым взглядом морского разбойника, а милостивая девушка в узеньких джинсах. На тонкой шее вежливой девушки был повязан цветной платок. Она посадила старика на первую ступеньку. И он сразу же был поражён чистотой прохода, блеском начищенных, никелированных перил, мерцанием светлых окон. В его отсеке — вагон был плацкартный — никто не сидел, и никто не разворачивал жареную, тёмно-коричневого цвета курицу. Пахло чем-то душистым, чужим, как теперешний ярко-жёлтый лимонад.

Старик ехал в никуда. Он взял для блезиру билет до какой то станции Сума. “Сума” или “Сумма” — он так и не понял. Все шептал сухими губами, перебирая два этих сумрачных слова.

Из сумки старик достал Льва Толстого, повесть “Казаки”. Но читать не стал. Книгу он захватил с собой по старой привычке.

Когда поезд тронулся, отъехали, мелькнула проводница с ключом, открыла туалет. Старик приготовился вдохнуть сигаретный дым, который всегда пробивался из тамбура в отсек туалета. Он пошёл, пошатываясь, и это его слегка успокоило. Но, открыв дверь этой санитарной комнаты, он с крайним изумлением ничего не увидел, кроме стального цвета чистого унитаза, в котором ничего не журчало и не билось. Умывальная раковина тоже была серой, хорошо оцинкованной. При нажатии на язычок текла и холодная, и горячая вода. Зеркало отражало морщинистую, растерянную физиономию.

Старик ничего не стал делать, просто пожевал сухими губами и вышел из туалета. Он понял, что не туда попал, что взял билет не в тот вагон. И его тащит не та заветная рыба, про которую он читал давным-давно, а что-то другое, крайне вежливое и холодное.

С минуту он надеялся, что вот-вот из тамбура ворвутся цыганки в кружевных юбках и станут приставать с гадањем, называя его “миленький-хорошенький”... Хрен тебе!

Вскоре на тонких, лакированных копытцах, обтянутых в синюю, полинявшую материю, явилась проводница. Он улыбалась и предлагала ему кофе в пакетиках или чаю!

— Чаю! — радостно воскликнул старик. Чаю! И пред ним тут же, в сознании, мелькнули твёрдые буквы “МПС”.

Девушка ушла, тут же вернулась, поставив перед стариком белую с голубым цветочком чашку на таком же белом с цветочком блюде.

Старик поглядел на это всё, будто ничего не понимал, будто вообще он где-то потерялся, будто у него враз отшибло память. Он потёр виски, достал очки из целлофанового пакета, потом опять сунул очки туда же, потёр опять виски, лоб. И заплакал. Он плакал молча, просто текли слёзы. Слёзная влага заворачивала в радужную простынку всё, что есть в вагоне и в окне, корёжа это всё, как ненужную листву в осеннем парке.

Девушка в косынке с пластмассовым квадратиком на груди “Дарья”, когда вернулась за чашкой и деньгами, заметила слёзы на щеках старого пассажира. Мать ей говорила когда-то, что старьёй, как мальёй.

И Даша спросила, опять сияя молодыми, чистыми глазами:

— Дедушка, может, чай не сладкий? Так я принесу сахарку?

Он промычал что-то в ответ, глядя в окно и одеревенев.

И Даша ушла, тихонько, кажется даже, на цыпочках. Да и так её лакированные копытца были абсолютно бесшумными.

СЫРАЯ СИРЕНЬ

Владимир Иванович, сухой поджарый старик, ветеран войны, из последних её служащих, похоронил жену. Пышную раздобрешую бабу, имеющую вечный возраст — шестьдесят лет.

Горевал, конечно.

Заглядывал в редакцию маленькой газеты “Восход”, где он числился пишущим заметки активистом, и, высморкавшись, жаловался длинноношему заведующему отделом писем Виталию Столярову:

— Спать не могу. В час ночи просыпаюсь и гляжу по тёмным углам. Мне чудится, что здесь она, Сергеевна моя, что прячется только.

Столяров вытягивал свою шею и глядел на Владимира Ивановича, не моргая.

Однако через месяц Владимир Иванович пришёл с новой жалобой: “Отпустило!”

Столяров сморгнул, а Владимир Иванович засунув платок в брючный карман, пояснил:

— Не могу я один. Никогда один не жил. Вот нашёл себе... эту... хорошую женщину. — Он побряхтел. От этого стрелки полузакрученных усов его подрожали. — Я, Виталий, наверное, только на том свете успокоюсь... А так всё время об этом думать буду.

Сельский журналист Столяров приобрёл привычку садиться в один рядок с тем человеком, с которым разговаривает. Он пересел со своего скрипучего стула на дерматиновый диван сталинской поры. Диван-то был старым, но обтянут новой материей им же самим, Виталием.

Круглое лицо на длинной шее повернулось к старику и покачалось.

— Стёпа мерещится всю жизнь, — доверительно проговорил посетитель.

— Какая ещё Стёпа? — Столяров облизал губы, словно хотел скушать будущую историю Владимира Ивановича Кормильцева.

— По-хорошему её звали не Стёпой, а Стефанией, итальянкой она была. А познакомились мы с ней в немецком городе Потсдаме. Это уже было после того, как фашист сдался. Конечно, город был иным, совсем не похожим на наши города. И голод в нём был особенный, чистый и рафинированный. Чистенькие дети, немки, выстиранные до последней возможности, синеватые даже, подходили к нашим кухням и им плескали в котелки, фляжки. Это хорошо в кино показывают.

— А так ведь в кино врут все про войну-то?! — вставил Виталий.

— Брешут! — кивнул стрелками усов Владимир Иванович. И продолжил: — Я у полковника, замкоменданта города Белоусова, в ординарцах служил. Что там мне было, поскрёбыш войны, девятнадцать лет. Н-к, дак вот. Скажу я тебе, Виталий, без брехни. Наши тоже спервоначалу лазили по ихним хаузам, потихоньку таскали добро-то. Ещё приказа расстрельного не было... Ну, там и фрау пощекотывали, где надо... В этих самых сладких местах. Как же по-другому? Победители! Да и немки охотно шли... гм-м-м... На это сближение.

Ветеран потёр топорщащиеся по-молодому усы. Он курил. Поэтому часть усов желтела от никотина.

— Да и дома у них специальные оставались. По обслуживанию. Которая покрасивше — два пфенинга. А так — за копейки...

Глаза у журналиста потемнели:

— Но это как-то скучно. Не по-нашему. Как будто с куклой из тряпок.

— Ну, дак вот, а уж не помню, где... Да-да, в зарослях сирени, в парке ихнем я познакомился. — Тут Владимир Иванович потёр глаза. — А вот сирень у них наша, родная, как у Онучки в полисаде. Всё чужое, а сирень — своя... А! Отвлёкся я... Она сказала — Стефанией её звать! Почти по-русски. Понять можно было. Я тоже ей представился. Она повторила: “Владимир”. Глаза у Стефании были густо чёрные и хорошо мытые. “Красифо”, — повторяла она за мной. — “Кра-ра-шо”. У них тоже такая сирень растёт. Я тогда понял. У них — это в Италии. Стефания оказалась итальянкой. И эти глаза, и смуглая кожа, и этот вот запах полураспустившейся, ещё сырой сирени, смешанный с запахом её кожи, — всё это ударило то ли по мозгам, то ли по сердцу. И я тогда опьянел, без всякого шнапса. Я ей тоже видно пришёлся... Молодой был, скуластенький... Стал её подкармливать. Она всегда жадно уплетала и мои консервы, и тушёнку, и солдатские галеты. Мой полковник шоколад мне отдавал. Как потешно мазалась этим

шоколадом Стефания, Стёпа! Это я её перedelал на русский манер. А как она пела! Итальянцы все поют хорошо и имеют хорошую память. Верить, нет — русский язык вполне сносно выучила. И когда, жмурясь, грызла чёрную шоколадную плитку, приговаривала: “Сердце женщины лежит через шелуху”. У меня и деньгишки водились. В гапсет с ней ходили.

— А это самое... Это-то было? — Виталий Столяров немножко отодвинулся от порозовевшего Владимира Ивановича.

— Не в первый же вечер! Они же, эти нерусские, не понимают, что надо в начале выдержку иметь, а потом уж... Что так оно и слаще... Н... Да... Но не в этом дело... спустя время, дело уж под осень, оказалось, что Стёпа в положении. Чо? Чо?.. Я, дурень, обрадовался. И в мыслях не было там её бросать. Мол, поматросил и бросил. Жениться надумал. А она-то как была рада, так и болталась у меня на шее, как какой-нибудь дорогой камень... У тебя здесь курить нельзя?

— Нет!

— Ладно! Я к полковнику своему, к Белоусову, рапорт. Так и так, хочу судьбу определить? Как звать? Итальянка? У немцев работала? Телеграфисткой?

Доброе лицо моего полковника побагровело. И глаза! Глаза испугались. Кажется, ему не хватало воздуха. Но он его всё-таки получал: “Неме-е... неме... нем-едлен... но домой. Туда, с первой же отправкой”. Я всё понял. Это тогда я жутко обозлился на Белоусова. А потом только понял, что он спасал не только себя, но и меня... От лагеря... Но, может быть, и от пули...

Великая, сострадательная душа Белоусов. Он разрешил мне и в этот вечер встретиться со Стёпой. Я ей всё рассказал. И она повторяла без слёз, твёрдо и не своим голосом “Не суждено!” И всё равно от неё свежо пахло сиренью.

На другой вечер я опять вошёл в узкий коридор с чередой комнат. В одной из них жила Стефания — Стёпа. Жила — да не жила! На двери комнаты был приклеен листок с русским словом “Уехала”. И я тоже укатил по своим солдатским рельсам в чине сержанта. Терпеть не могу одиночества. В этой вот, вашей станице я тут же скороспело и подженился на своей Ирине Сергеевне. Уже лет так через десять, когда мы с женой полностью привыкли друг к другу, я понял, что женился я на ней из-за похожих итальянских глаз... Есть такой художник...

— Брюллов, — подсказал Виталий.

— Ага. Так вот у него на всех картинах женщины с такими глазами!

— Брюллов! В основном в Италии и жил! — подтвердил журналист. — А у этой вашей, новой, итальянские глаза?

— Не-е-е... Может, и были, да выщвели.

Через полгода после этого разговора *поскрёбьши войны* Владимир Иванович Кормильцев на велосипеде ехал на рынок. Рядом с отделом милиции ему стало дурно. Он спешился и, недоумевая, схватился за сигарету. Прикурил и потащил старый, исцарапанный велик к стеклянной будке, нечто вроде милицейского “предбанника”. Транспорт свой приткнул к дереву. Зашёл в будку. Нажал на специальную кнопку вызова. Двое молодых парней в форме принесли стул и усадили Владимира Ивановича. Коротко сказали: “Скорая” сейчас будет, вызовем.

Сигарету Кормильцев докурил до жёлтого фильтра. Сразу, как докурил, так и ушёл из этого мира. Не упал. Прислонённый к стенке, он часа два, как в аквариуме, остывал, отдавая последнее тепло холодному в этом году месяцу маю.

КЛЕТКА

— Анонимно, говоришь? Раз всё анонимно, давай придумаем мне фамилию. Пусть я буду Рогачёв! А что, вполне соответствую. Только ты, это, новый образ обмыть бы надо напоследок.

Борис так криво шутил.

— Дрожишь весь, какая обмывка?!

— Даже перед эшафотом дают последнюю сигарету. Ты ведь меня на эшафот везёшь?!

Старенькая “шестёрка” притормозила у магазина. Наташа спрыгнула. И вернулась из торговой точки с бутылкой, обтянутой фольгой.

Половину бутылки пива он выпил с маху, другую вспененную половину переименованный Семёнов швырнул в тёмные кусты, выпиравшие из фундамента магазина.

— Не пьётся.

Анонимное лечение под псевдонимом Рогачёв предполагало и дополнительный тариф. Наташа уже на проходной сунула денежную бумажку внушительной бабенции в дерматиновом, как у мясника, переднике.

Вообще всё здесь походило на старорежимную, времён СССР мясную лавку. Или подсобку. Серые, плохо белённые стены, пол из мутного кафеля и ванна, похожая на огромную мойку для посуды с ржавыми алюминиевыми краями.

Всего этого будущий пациент Рогачёв и не заметил сразу. А огляделся лишь тогда, когда на него полилась тёплая вода. Венчиком этой водицы распорядилась Наташа. Она намылила ему голову бруском хозяйственного мыла, от которого пахло далёким детством, баней в Сосновке. Она ласково, ладошкой потёрла его щеки. От этого, а не от тёплых струй, по всему телу пробежало особое, домашнее тепло. И даже видавшая виды чужая мочалка не показалась обновляемому Рогачёву чужой. Ведь её сжимала Наташина ладонь. Мозги его работали сумбурно. Они были сбиты недельной суматошной пьянкой и подраны недавним мерзким пивом. И всё же Рогачёв с досадой подумал, что могло быть иначе. Да-да, так, как пять лет назад. Тогда так же в душе она мылила его и обнимала, обнимала и тёрла, и они целовались взад-вперёд, и они делали это самое, отчего брызги никелированного раструба были не водой, а крупными жемчужинами. Но ведь всё пропало, истребилось, унеслось. От его ревности, от её подозрительных отлучек, от его выпивок в случайных подворотнях.

Наташа так же, как и раньше, прижалась своей щекой к его щеке. И нахлынула новая волна особого тепла:

— Лечись, может всё у нас назад вернётся.

Рогачёв угукнул. И его, уже одетого, под руку схватила жёсткая ладонь санитарки, той самой, которой Наташа сунула деньги.

Жена двигалась сзади, чуть поодаль. Наташе разрешили посидеть в беседке для курения, пока Рогачёва дооформят на посту и сделают предварительные лечебные процедуры.

Выдали таблетки и капсулы, завернутые в пакетики, ширнули укол, и медбрat с ошипшим голосом повёл на место. Место было огорожено узорчатой тёмной решёткой. Такое впечатление, что это железную изгородь ставили откуда-то с морской набережной. Однако калитка этой изгороди оказалась заперта на внушительного вида замок.

Одурманенному Рогачёву должны были делать капельницы, но пока он огляделся. В его глазах, как надутые мешки, подпрыгивали однопалатники, такие же, видно, горемыки. Они что-то бубнили и больно для мозгов Рогачёва смеялись. Рогачёву показалось, что над ним. Он попытался сказать сильному санитару, который возился здесь же с верёвками:

— Выйти бы, попрощаться. Жена.

— У всех жена. — И ровным, как у боймана в кино, сильным голосом предупредил, что если Рогачёв будет рыпаться, то его ремнями привяжут к кровати. Рогачёв было взъерепенился, но на дальше не хватило сил. Наташа и так, наверно, уйдёт.

Другая сестра, не тот буйвол, а худенькая, приволокла, задевая за порог узорчатой решётки, капельницу с тяжёлыми покачивающимися жёлтыми бутылками. Она бесстрастно, автоматически нашла вену и так же равнодушно похвалила Рогачёва за выпуклый сосуд.

Методично капало лекарство, извиваясь в прозрачных трубках. И вскоре желтизна этих трубок опутала Рогачёва, лишила его и глаз, и ушей.

Проснулся он от того, что рядом вполне различимо рокотал баритон. Смеялись. Баритон, икая, рассказывал о том, как он с товарищами, такими же, поймали кошку и сварили её на закуску: “Вернулась, ик, с работы жена, Клавка, понюхала воздух вокруг, ик, разогнала выпивох, а потом не подозревая ничего, “схавала” котятину. Кушала, ик, и хвалила: “Ум отъешь!”

Громыкнула железная изгородь их палаты. Пришёл сильный. И все засуетились, шмыгали носами, шерудили в тумбочках. Курить по расписанию. Неволя, всё ж. Сильный повёл их строем в ту самую курилку, в которой была оставлена жена. Рогачёв не курил. Но брёл следом. В курилке он чуть было не грохнулся в песчаный, с блеклыми ростками молочая пол. Мужик, его все звали Михалыч, подхватил его: “А ты чо нос воротишь?”

— Дым! — с трудом выдохнул Рогачёв.

Всё обошлось. Его сводили к дежурному врачу, который больно ощупал его, будто щипал куриную тушку. Задал странные вопросы:

— Какое сегодня число? Как вас звать? С какого вы года рождения?

— А что, есть и не отвечают?

— Есть! — многозначительно кивнул лысый, в тёмных очках врач.

На ужин подавали кашу-размазню. От капельниц пробился аппетит. И Рогачёв, удивляясь себе, быстро проглотил это блюдо, запив бурдой с лекарственным запахом.

Михалыч, тот самый, который спас его от падения в курилке, хмыкнул:

— От стоячки!

Само собой, большинство пациентов привезли сюда жёны. Некоторых возят по несколько раз в году, “чтобы все отдохнули”. Вялым и всё же возвращающимся рассудком Рогачёв отмечал главное: зашиваться бесполезно.

— А меня моя специально сюда тискает, чтобы к этому мотонуть, — надтреснуто прозвучал голос из угла.

Кто такой “этот”? Рогачёв соображал медленно. Любовник...

— А мне всё равно, лишь бы хавчик был с пойлом, — пиликнул длинный мужик, которого все звали Художник.

— Эх, сейчас бы чайку покрепче! — Это Рогачёв сказал вслух. Он почему-то разволновался и стал дрожать.

— Не-по-ло-жено! Ни чай, ни кофе, — ответил на это взявший над ним опеку Михалыч. Он возился с электробритвой. И брился, как утверждал, три раза за день: “Волос прёт, когда трезвый. По пьяни неделю не броюсь”.

Звякнула цепь, на которой висел замок.

Это явился Сильный. Он подсел на кровать к Рогачёву и доверительно сообщил:

— Я тоже здесь лечился, а потом на всю жизнь устроился. Холостой, чо мне, холостому хорошо. Как солдат. Паста да щётка. Вот спасаю вас. — Сильный помолчал: — На вот тебе денег. Прислали! — Он быстрым движением сунул Рогачёву в карман пижамы бумажки. — Если хочешь, можешь супруге позвонить. Я за эту услугу уже вычел. Из всей суммы. — Он вложил в ладонь Рогачёву тёмный брусок с клавишами.

Наташа ответила сразу, сказала, что дома, что убирается. Голос у неё был весёлый. Наверное, всё вернулось на лад, и она этим голосом подбадривает мужа, как вообще подбадривают всех больных. Да, он вылечится, и всё опять вернётся на прежнее место. И они опять будут целоваться дома, в душе, пока Димка спит. А потом мокрые, на цыпочках, перебегут в спальню.

— Принеси мне завтра пачку чаю! — попросил Рогачёв Сильного спасателя.

— Не положено! — вяло уронил санитар. Рогачёв уже знал, что его зовут Антипыч.

Когда санитар ушёл, тот самый художник от слова “худой”, закинул удочку:

— Прописаться бы надо?!

— Доходит, ик, как до утки, на третьи сутки!

Все заржали, вполне доброжелательно. Художник разъяснил:

— Здесь дырка есть в проволоке, а недалеко от дырки — лавка, сам понимаешь, на лавку и фю-ить — на волю. Прописаться тебе милое дело... Башли-то Антипыч пригнал!

— А засекут? — вяло возразил Рогачёв. Ему не хотелось скандала. Ведь он твёрдо решил лечиться. И всё же пришлось дать деньги на пойло.

Михалыч успокоил:

— Не бойсь, они нас запирают, а мы в ответ — вот эдак. Ночью никто не проверяет. Вот не запирали бы, и в лавку бы никто не бегал!

— Сомнительно! — Это возразил паренёк, которого снарядили в лавку. Полы его халата были огромны, как у пингвина фрак.

— Что сомнительно? Ты это, ещё пачку чаю купи! — попросил Рогачев.

— Лады.

Чаю посыльный так и не принёс, забыл. Ну, да ладно, Наташа завтра тайком доставит. От выпивки Рогачёв сумел отказаться, сказав, что живот скрутило.

Поздний вечер прошёл тихо-мирно. Кроме горошин, капсул, двух уколов Рогачёву вручили ещё и снотворное в строгом пакетике. Оно подействовало сразу, и от него стало хорошо на сердце. Рогачёв вдруг понял, что не только он жену, но и жена его любит. И это всё — чистая, как мёд, правда. Год назад на зеркале в прихожей Наташа крупно написала губной помадой: “Я тебя люблю, но иногда на меня что-то нападает, и я бешусь”. От такого признания как не выжить!

Приснилась чушь, бред. Бандоги с расплывчатыми физиономиями. Они протягивали ему горошины таблеток и шевелили ножом у горла: “Рогачёв, не прикидывайся, ты Борис Алексеевич Семёнов, мы тебя вычислили”.

Сон оказался таким реальным, что Рогачёв-Семёнов понимал, что это происходит с ним в каком-то дальнем углу наркологии и что его вот-вот и вправду пырнут ножом, чтобы чего-то там зашить!

Но под утро громыхнула решётка, и сильный Антипович повёл всех дымить. Рогачев увязался со всеми. Ему надо было скоротать время. До посещения Наташи оставалось ещё три часа.

Свидание с женой проходило в добротном отделанном пластиком помещении. Как в капсуле космического корабля.

Наташино лицо было безукоризненно загримированным. И ещё она распустила волосы по плечам. Она так делала всегда, когда надо кого-то убеждать, с кем-то бороться. И в самом деле, она стала убеждать Рогачёва закодироваться уже после основного лечения.

Так это или нет, но Рогачёв слышал от мужиков, что кодировка вредна для мужика: “Пить-то, паря, бросишь, но вот с бабой, паря, ни на что не будешь годеи...”

Наташа иронично улыбнулась:

— Ничё, справимся!

Он не понял.

Из нарядного пакета она выложила туалетные принадлежности, всё новое, пахучее, новое спортивное трико и пачку листового чёрного чая. Всё это она сдабривала ласковой, вполне правдивой улыбкой, и Рогачёв радовался её передаче, её искрящимся, раскинутым по плечам волосам, крепким икрам, хорошо видимым за подолом льняного, под крестьянскую старину платья. Заживём, заживём скоро. Всё заживёт!

Так же, крепко, она поцеловала его, обхватив затылок.

И тут в сумочке Наташи зазвонило. Обычный звонок, не мелодия. Наташа не любила эрзац-музыки. Жена выхватила телефон, отвернулась, прикинула к трубке, а потом быстро отпрыгнула от Рогачёва.

К мужу она вернулась тут же. Разговор по телефону был короток. Она, не мигая, смотрела на мужа.

— Вот что, — с изменившимся, чужим лицом (куда девалась её ласковость?) она рубила фразы: — Вот что... Только ты не падай. Мне позвонили... Гм-м-м... Что я там нужнее!

— Где там?.. Где там?!

— Где там, где, где... — Лицо её стало реально злым и пошло пятнами. — У него... Он попал в аварию в Новороссийске. Я туда поеду, там нужнее. В бессознательном состоянии. А ты тут... Прохлаждаешься. — Она укусила губу.

Рогачёв через тюль различил, как она подхватила свои сумки, пакет с грязным мужниным бельём и враз исчезла из поля зрения. Волосами плеснула. И ещё, и ещё — тёмным своим хвостом.

Рогачев уже не знал, что дальше будет делать и как жить. Он скользил задом по лунке стула в кабине этого пластмассового звездолёта и повторял, как уже закодированный, вопросительные слова: “Как? Где? Когда?”

Хлопнула с винтовочным клацанием дверь. Прихлынула та самая, с тяжёлыми бёдрами служительница и поволокла его опять под тёмный, исцарапанный ключом замок. В клетку. Рогачёв свалился на кровать, долго глядел, ничего не понимая, в потолок. Ему показалось, что он сходит с ума, потому что услышал: “А мне всё равно, лишь бы хавчик имелся...”

Какой он художник. Мурло! Откуда это всё берётся? Злость откуда? И эта злость подняла Рогачёва и подкинула его к распаренному рылу на подушке со штампом. Конечно, Рогачёв бы его придушил, если бы Михалыч не укусил за большой палец на горле уже сдавшегося Художника.

НЕМЧУРА

Геныч, а официально Геннадий Карлович Зауэрбрей, выйдя майором милиции в отставку, решил мотануть на цивильный Запад в немецкий город Хемниц! “Поглядишь, как мы загниваем”, — писал ему по старинке в письме осевший там старший брат Димка, осевший там давно, ещё когда Хемниц назывался Карл-Маркс-штадт. Немцев из России тогда выехало полно. Потом эту лавочку прикрыли. Да Геныч никуда и не хотел выезжать. Привык тут.

И как только он очутился в зелёной, чётко, по-военному постриженной обители брата, так сразу и понял: прав брательник. Загнивают. Без запаха, но с шиком. Магазины — чо хошь покупай, на лицах — сдержанные улыбки. На зеркале для бритвы больше пыли, чем на проспектах этого города.

Попадались, правда, многоэтажки, как в России. С балконами и козырьками у подъездов. Но все это вычищено до блеска и залакировано.

Димыч ничуть не изменился. Помолодел даже. Жил он в доме советского образца, с козырьком и балконом. У входа за стеклом сидит приветливый страж, оснащённый компьютером и фуражкой а ля фашист. Такие головные уборы в последнее время появились и у них в отделе внутренних дел.

Поручкались, весело потолкали друг друга плечами. Геныч, вспомнив уроки немецкого, выпалил:

— Хойте орднер!

Брат поморщился:

— Сколько живу, никак язык не освою, хотя надо бы... — Сразу широко распахнул шкаф: — Выбирай!

В шкафу, как на весёлом карнавале, толпились бутылки с разными жидкостями, украшенные большей частью старинным шрифтом.

— Пью, что горит! — хохотнул Геныч.

— Рекомендую: шотландский виски!

— А водка есть, а бабкина смага? Шучу!

На стеклянном столике появились рюмки и всякая “парфюмерная”, как сказал хозяин квартиры, закуска.

— А где Валька-то твоя?!

— Работает, на почте, я писал же, старшим помощником младшего под-метайло. — И сразу зачистил: — У них здесь автоматика кругом, хоть ты говно вози, все одно — не испачкаешься. Да, оно у них и не пахнет. Может, они что-то после еды в рот суют. Ну, давай по малёхонькой!

— Подняли, выпили.

— Ты, знаешь, брательник, — вежливым голосом проговорил Димыч, — я сейчас не злоупотребляю, здоровычко поджалю, да и Валька вот говорит: хоть немного в роскоши немецкой поживём. Всё мне покупает примочек да при tiroк разных, чтобы рожу мою омолодить. Ну, а чо, задуматься — права она.

— Хм, да, да, права твоя Валька. Я вот сюда ехал с аэропорта, чо подумал и чо узнал про эту голову?

— Про какую ещё голову?

— Ну, про Карла Маркса. Голова-то стоит среди проспекта, щурится. И сзади надпись: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”. Соединились и мимо этой головы на “мерсах” пролетают.

— И что ты подумал про голову?

— Из пластмассы она. Агромальная. Из пластмассы. Вот если бы в России такую башку бородатую задумали бы, то из чугуна бы её вылили, чтоб уж никак не сдвинуть. И хулиганы в овраг не укатят.

— Нет тут хулиганов.

— Да я вижу, жаль! Давай ещё чекалдыкнем!

— Кх-м, слово какое, я уж и забыл его. Давай, Геныч, но последняя, я ж предупреждал. И Валька вонять будет! А ты пей, чо тебе.

— Ага. У тебя и балкон есть, курить хоц-ца!

— На балконе нельзя, соседи петицию напишут... Шум будет... Они тут за экологию борются до посинения. Где ж тебе... Я ж бросил... Ну, ладно, иди в туалет, там дыми. Потом дезодорант — там на полочке, спрыснешь. Валька придёт — поужинаем уже капитально.

Димыч устроился на диване, взял в руки телевизионный пульт. Геныч покурил в уборной, налил себе ещё рюмку, выпил, замечая в себе что-то неладное. Пить больше не хотелось. Может, в Германии воздух такой.

— Может, тут и алкашей нет, и нищих?

— Немного имеется. Вечером вылезают на прогулку. Говорят, что это у них вроде хобби, отрицают удобства.

— Чудеса! — то ли одобрительно, то ли осуждающе сказал Геныч. — А чо здесь делать вообще?..

— А нечего здесь делать. Балдеть! Вон телевизор. Машина у нас неплохая, ездить, путешествовать, природой любоваться, кегельбаны, это, для мужиков-то... Да и для женщин...

— Охота?

— Ага, охота... Охота, когда охота... На двуногих. Ну, вот приспичит, и — туда. Альбомы там, а можно и по видео поглядеть, какая нравится, со всех сторон повертеть, как куклу.

Геныч тряхнул головой:

— Бордели, что ли?

— Они.

— Был?

— Не удосужился.

Геныч сразу понял, что врёт. Как можно мужику, молодому ещё, и не соблазниться? Ну, за пятьдесят. И чо? Хоть для интереса.

К вечеру вернулась Валька с пакетами. Она поддержала компанию и разрешила своему Димычу выпить три рюмки крепкого виски. Все раскраснелись, стали жадно есть, как в России, и жадно расспрашивать Геныча:

— А как Валерьяныч там? А Динка Соколова меняет мужиков, как в прачечной простыни, ха-ха, хи-хи. Платоныч олигархом заделался, парк у него из пяти комбайнов. В уборку фермерам в прокат даёт. А этот, Пал Мудозвоныч, шоферит?.. Куда ему ещё...

Хорошо у брата. Живёт в раю! Вон, даже чайник на плите в два раза быстрее закипает, потому как газ натуральный, не выжимки.

Утром Геныч отправился в открытое море, поглядеть, как немчура-то устроилась. Вежливый фриц в стеклянной будке записал его как Генриха Карловича Зауэрбрея и пожелал, немного зная по-русски: “Карошего прогулка”.

Удивляться в этом городе уже и нечему было. Ну, оперный театр в центре, опять — та же башка основоположника. Главное удивление — светофоры

на перекрёстках. Они все связаны в одну большую вязанку. И по-разному моргают. Как это фашисты в них кумекают?

Геныч хорошо разбирался в закутках кубанской столицы Краснодара, а тут, в линейности и кубичности всего, даже цветы — в вычерченных ледяными клумбах, тут он заплутал. И его выручило то, что пожилые немцы, те, которые учили русский язык в ГДР, подсказывали ему, куда идти. На лицах у этих немцев были почти живые улыбки. Так они подсказывали, словно больному или глухонемому. Даже голос повышали.

Три дня Геныч бродил по их маркетам, покупал джинсы Ленке, бюстгальтеры (стыдное занятие) жене Надюхе. Ведь наказывала: “У немцев белё такое, что у тебя сразу... — Что сразу? — А ну тебя, осёл ты, Геныч, хоть и майор милиции”.

Ездили за город на Димкином “Фольксвагене”. Ничего, природа такая же, лишь подстриженная. Неужели они и своего немецкого Бога приучили к секатору?

Геныч затосковал... И всё же одна мыслишка свербила его. Он уже знал, куда это идти. И лучше вечером. А то вдруг в этих апартаментах перерыв, облом. Немцы, они чистые. Врачи всех проверяют. И каждая девушка так же блестящая, как деталь братнина “Фольксвагена”

“Спрашивать не буду, неудобняк, — решил Геныч. — Носом учую дичь”.

И, действительно, как у нас, у русских говорят: “Ноги сами приведут!”

Он пощупал сторублёвую... тьфу... Стоевровую бумажку в кармане: “На первый раз хватит”. И свободно, расправив плечи, милицейской походкой зашёл в автоматически распахнувшуюся дверь, над которой мигали розовые язычки слова “Paradies”.

Тут же его под руку подхватила длинноногая девушка в чёрной юбке и белой кофточке с бейджем на кармашке. И что-то стала мелко-мелко шпрехать. Она поняла, что клиент не понимает, перешла, кажется, на английский и тут же осеклась, показав на дверь. И эта дверь открылась: холл, длинный диван, загородки с планшетами, журналы и реестры-ценники. Генычу понравилась пухленькая блондинка. Марта. И он ткнул пальцем в её фото. Марта стоила 50 евро.

Наш мент бесстрашен и чугунен, как русская голова Маркса. Он смело отдался обстоятельствам. Марта оказалась улыбчивой девушкой со скользким, пресным телом. А как он хотел? Это ведь её работа. А всякая работа скучна.

Что ж, дело сделано.

Легко Геныч нашёл дорогу к братнину дому. У него кончились сигареты. И он, не зная, как это делается, подошёл к мужику примерно его возраста. Хм-м, оказалось — нищий. Нищий понял его и протянул пачку “Мальборо”. Домой идти не хотелось, там курить в туалете не комильфо. И Геныч пригласил нищего в бар. Тот охотно согласился, увидав его щёлканье по горлу — это была своего рода азбука Морзе для пьющих.

Нищий-то он нищий, но по-русски шпрехал, я те дам, как наш выходец с высоких гор Кавказа, всё повторял одно и то же:

— Карашо вы нас даванули, надо было до конца придушить, всю эту мерзость. — Эдик тыкал пальцем в гламурную роскошь бара.

— Тебя бы в наш подвал или в котельную!

Наклокались изрядно. И уже поздно Геныч добрался до своего временного жилья. Увы, в дом его не впустили. Надо было кричать в домофон, нажимать на кнопки. Но он стал лупить в дверь ногами, напевая:

— В той хемнице сырой, в той хемнице сырой!

Город-то Хемнице. Брат говорил, славянское название: “Кемнице — каменный”. Всё это болталось у него в голове, как вязанки уличных светофоров, и перемигивалось.

Всё же вышел консьерж с каменным лицом. И ловко, как будто был этому обучен, подцепил Геныча под локоть. Потом вызвал с третьего этажа брата.

После того, как составили документ, брат его забрал.

— Будет порицание! — поморщился Димыч.

— От кого?

Брат вздёрнул подбородок. Будто порицание вынесет небо.

И вот, когда все уже, Валька, брат и он, Геныч, пили чай на широкой кухне, к нему влетела тормошащая мозги мысль: “Завтра — домой!”

И ему вдруг стало хорошо. Словно камень с сердца свалился. И они опять стали вспоминать своё не загнивающее, а давно гнилое прошлое. И брательник рыдал, вздрагивая, на его плече. А Геныч трезвел. А Валька, подливая крепкий чай, лопотала:

— Всегда он так, домой рвётся, в наше... тьфу, в ваше, говно... Да и то, подумать если...

— Чо подумать?

— Да, ничо, Геныч. Нормалёк. Всё. Проехали.

.....

Николаю Александровичу Ивеншеву исполняется 70 лет. Многие произведения этого талантливого кубанского писателя напечатаны в журнале “Наш современник”. С удовольствием поздравляем нашего автора и друга с достойным юбилеем.

Редакция